



Георгий Владимов с дочерью Мариной. Москва, 1998

Георгий Николаевич Владимов, автор повестей «Большая руда» и «Верный Руслан», романов «Три минуты молчания» и «Генерал и его армия» — мой отец. К сожалению, мы были вместе очень мало — всего каких-то десять лет. Все годы меня не покидало чувство, что надо записывать всё, о чём рассказывал отец, что это слишком значимо: память человеческая — штука ненадёжная. Не записала. Теперь пишу по памяти, жалкие кусочки того, что запечатлелось, — но спасибо, что остались хоть они.

Как и когда мы с ним познакомились? Звучит, конечно, невероятно, но соответствует действительности — мы узнали друг друга только в 1995 году, на вручении отцу литературной премии «Русский Букер», когда мне было уже тридцать три года. А до этого были только письма. Письма в Германию из Москвы и обратно.

Как отец оказался в Германии?

В 1983 году по приглашению Генриха Бёлля отец уехал читать лекции в Кёльн. К тому времени уже шесть лет в России у него ничего не издавалось. Ранее он стал председателем советской группы «Международной амнистии», писал письма в защиту Андрея Синявского и Юрия Даниэля, дружил с Андреем Сахаровым,

Еленой Боннэр, Василием Аксёновым, Владимиром Войновичем, Беллой Ахмадуллиной, Фазилем Искандером, Булатом Окуджавой, Виктором Некрасовым, был знаком с Александром Солженицыным, Александром Галичем, Владимиром Максимовым, Юрием Казаковым, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким и многими другими. Постепенно он стал жить «поперёк», а таких вещей советская власть спокойно выдержать, а уж тем более простить — не могла.

Как могли ему простить глубочайшую внутреннюю независимость и само-достаточность? Как-то после своего возвращения в Россию он сказал мне: «Ты знаешь, не пойду я на это сборище. Терпеть не могу любые тусовки, зачем тратить на это время? Писатель должен писать, а не болтать и тусоваться. Я всегда считал, что не нужно входить ни в какие партии и объединения, всё это ерунда — поэтому я всегда был беспартийным и свободным».

Так отец ответил на мой упрёк — я упрекала его в том, что он не идёт на какой-то очередной литературный вечер, где собиралась литературная элита тех лет и куда его пригласили заранее для вручения статуэтки Дон Кихота — «символа чести и достоинства в литературе».

Я же, испорченное дитя советской действительности, полагала, что там могут встретиться «полезные люди», которые помогут ему получить от государства хотя бы маленькую квартиру. Ведь получил же Владимир Войнович прекрасную четырёхкомнатную квартиру в Безбожном переулке по указу Михаила Горбачёва!

Как могли ему простить, к примеру, дружбу с опальным Сахаровым, когда от того знакомые отшатывались, как от чумного? Отец старался хоть чем-то помочь в те времена Андрею Дмитриевичу, иногда выступая даже в качестве его водителя. Вспоминается забавный (это он сейчас забавный!) случай, рассказанный отцом: во время поездки (кажется, в Загорск) внезапно оторвалась дверца любимого старенького отцовского «Запорожца». Причём на полном ходу... Все замерли. А Сахаров всю оставшуюся дорогу невозмутимо держал злополучную дверцу, продолжая разговор на какую-то интересную для него тему.

С этим «Запорожцем» была связана ещё одна, более опасная история. Однажды во время загородной поездки мотор у машины вообще заглох, а когда отец заглянул в её нутро, то обнаружил, что в бак для топлива засыпан почти килограмм сахарного песка, отчего машина и отказывалась ехать. Отец был уверен, что это не случайность, это сделано заинтересованными сотрудниками «бугра», как называли тогда вездесущую организацию, отвечающую за государственную безопасность СССР, но, конечно, прямых доказательств у него не было. С огромным трудом ему удалось очистить бак от этой гадости.

В 1981 году, после допросов на Лубянке, у отца случился первый инфаркт, потом новые допросы и намёк на то, что допросы возобновятся. Всё могло кончиться посадкой (лексикон тогдашних диссидентов). В это время отец уже начал писать «Генерала и его армию». Надо было спасти своё дело, свою жизнь. Спасибо Бёлло!

Но, уезжая из страны, отец не думал, что уезжает надолго, он считал — максимум на год. Через два месяца после приезда в Германию отец и Наташа Кузнецова (его вторая жена) по телевизору услышали указ Андропова о лишении его гражданства. Кооперативную квартиру Наташиной мамы, Елены Юльевны Домбровской, они продали перед отъездом в Германию, а квартиру отца правление кооператива продало само, не спрашивая на то его разрешения.

Через друзей в издательстве «Текст», в котором выходила повесть отца «Верный Руслан», я узнала его немецкий адрес. Написала ему. Написала, что мне от него ничего не нужно — я уже вполне состоявшийся человек, врач, учусь в аспирантуре, есть квартира, друзья, но как это странно — на такой маленькой планете Земля живут два родных человека и ничего не знают друг о друге. Отец ответил, мы начали переписываться. В 1995 году он приехал в Москву на вручение «Русского Букера» за роман «Генерал и его армия». Номинировал его журнал «Знамя», где печатались главы романа. Отец был очень благодарен сотрудникам «Знамени» за то, что именно они первыми способствовали возвращению его творчества на Родину. Он хотел, чтобы и последний его роман «Долг путь до Типперэри» был напечатан у них, журнал несколько раз давал анонс этому произведению. Увы, только первая часть романа была напечатана, да и она уже после смерти отца. Другие остались в замыслах; кое-что он рассказал мне.

Отец позвал на вручение премии и меня. Перед этим я побывала у него в гостях — в квартире Юза Алешковского, который пригласил отца пожить у него на всё время его пребывания в Москве.

Своей квартиры у отца больше не было. Он остался бездомным. В 1990 году Горбачёв своим указом вернул ему гражданство, но не жильё. Правда, в 2000 году Международный литературный фонд писателей предоставил отцу в аренду дачу в Переделкине. Отец очень любил эту не совсем свою дачу, но Господь мало позволил ему наслаждаться покоем и счастьем на Родине.

До этого дача много лет простояла пустая, потихоньку осыпаясь и рушась, в ней постоянно что-то где-то подтекало; отец смеялся и говорил, что живёт в «Петергофе с большим количеством фонтанов». Это был двухэтажный кирпичный дом, больше смахивающий на барак, с четырьмя подъездами. Рядом с подъездом отца были подъезды, где жили Григорий Поженян, дочь Виктора Шкловского с мужем, поэтом Панченко. Третьего соседа я не помню.

История дачи была романтической и печальной одновременно. Оказалось, что этот писательский дом построен на месте дачи актрисы Валентины Серовой. Её дача была окружена небольшим садиком, сохранился маленький прудик, в котором, по преданию, она любила плавать. Отец говорил, что представляет себе, как Серова перед спектаклями купается в пруду и что-то тихо напевает. Тогда он и рассказал мне историю романа Серовой и маршала Рокоссовского, во время которого Сталина якобы спросили, как относиться к самому факту этой связи (оба были женаты). Сталин ответил коротко и исчерпывающе: «Завидовать!»

После развода Серовой и Симонова дача пришла в запустенье, Литфонд снёс старый дом, построив дачу для писателей.

Во времена отца сад невероятно разросся, в него выходила дверь кухни с террасой. Стояли высокие тёмные деревья, трава заполонила всё пространство. Пруд был затянут густой зелёной тиной, было мрачно, летали страшно прожорливые комары. Отец всё пытался как-то справиться с запустением: убрал сгнившие ветки, сломанные деревья, подстриг кусты, скосил кое-где траву, в окна его кабинета стало заглядывать солнце.

Напротив своих окон он расчистил кусочек земли, на котором попытался разбить огород — посадил укроп, редиску и салат. В свой последний год в России, уже слабый и смертельно больной, отец с гордостью показывал мне пробивающиеся ростки, предвкушая урожай. Увы! Он уехал в Германию, так и не дождавшись его... Но немного радости ему садик подарил — в последний год отец не мог, да и не хотел писать. Ему нравилось возиться с землёй да потихоньку разбирать какую-то деревянную «халабуду» (слово отца) позади дома, на месте которой он мечтал построить гараж с ямой.

За воротами, на входе сохранилась двухэтажная кирпичная сторожка, где, видимо, в своё время сидела охрана, решающая, кого можно допустить пред светлые очи Серовой и Симонова. Вокруг всей дачи шла крепостная стена, а прямо напротив подъезда отца в ней открывалась чудесная таинственная дверь, окружённая высокими деревьями и душистыми травами. Пели соловьи, иногда вторя колокольному звону — через дорогу находилась дача Патриарха со старенькой переделкинской церковью.

В первый год, получив пустую дачу, где не было ничего, кроме стен и старой, сгнившей кухонной мебели, отец с энтузиазмом взялся её обустроить. В свой кабинет купил большой письменный стол с удобным креслом (а что ещё нужно писателю!), диванчик, пятирожковую люстру (в доме было темновато). В две другие комнаты поставил два дивана для гостей и шкаф-купе, который он сам собрал. Отец очень любил всё делать своими руками, получая от этого, похоже, не меньше удовольствия, чем от писательского труда.

Я подарила ему «вольтеровское» кресло — оно обосновалось в коридоре на первом этаже, отец любил сидеть в нём, разговаривая по телефону.

На кухне отец установил стенку, холодильник, повесил низкую плетёную люстру, поставил стол с длинными деревянными скамейками, на которых мало кто успел посидеть — отец прожил на даче всего четыре сезона...

На террасе, куда выходила дверь кухни, отец поставил маленький мангал, и несколько раз жарил на нём шашлык, попивая водочку с соседом-приятелем, чудесным поэтом Григорием Поженяном. Именно благодаря Поженяну отец и получил дачу — однажды он приехал к нему в гости в Переделкино и был очарован красотой, тишиной и покоем этого места. Обратился за помощью в Меж-



Георгий Владимов на даче в Переделкине, 2001

дународный литфонд, ему не отказали; большую роль в этом сыграл Поженян, замолвивший словечко.

Мы встречали Новый 2000 год вместе с Поженяном и его женой, в большой компании. Чудесный был Новый год! Поженян читал свои стихи, много рассказывал о себе — рассказчик он был не менее талантливый, чем поэт. Моя память сохранила только некоторые фрагменты. Например, его рассказ об освобождении Одессы, где он воевал (написав потом сценарий замечательного фильма «Жажда»), а потом — как обнаружил памятник погибшим освободителям города и нашёл там свою фамилию (его по ошибке тоже сочли погибшим). Или рассказ о том, как за «пьянку и аморальное поведение» в студенческие времена его с позором выгнали из Литературного института, грозно сказав: «Чтобы ноги вашей не было в стенах нашего заведения!» После чего он вошёл в институт на руках, не нарушив формально предписания!

Поженян рассказал, что Юрий Олеша ласково называл его в письмах «мой дорогой бочонок поэзии». Он такой и был — маленький, толстенький, шумный, очень уютный, гостеприимный, буквально фонтанирующий стихами и идеями.

Отец был другой — очень немногословный, он предпочитал слушать, рассматривать собеседников, иногда слегка улыбаясь, постоянно раздумывая о чём-то; в нём всё время шла какая-то неслышная, но очень важная внутренняя работа...

Бедный отец — он мечтал купить для большой комнаты, столовой (в ней, единственной в доме, стены были обшиты вагонкой), белый овальный стол с двенадцатью белыми стульями. Мечтал устроить в ней настоящий камин, чтобы можно было любоваться игрой огня. Возле дверей поставить рыцаря в полный рост, в доспехах, с забралом и шпагой (такого он видел в доме у Поженяна). Не успел это осуществить. В пустой комнате хранились инструменты, которые

отец радостно приобретал везде, где мог. С какой любовью он разглядывал по вечерам деревообрабатывающий станок, электролобзик, электродрель!..

На мой вопрос, кого он будет принимать в «белой столовой», с гордостью и одновременно с иронией говорил: «Как — кого? Послов, глав делегаций, многочисленных поклонников моего таланта, журналистов, жаждущих взять интервью по поводу моего очередного романа».

Видел бы отец, на что стал нынче похож писательский городок и территория патриаршей дачи около его Зелёного Тупика (последний адрес моего отца в России)... Возле скромной церквушки (её колокольный звон мы слушали по вечерам с балкона дачи) выросла стена с изразцами не хуже кремлёвской. Сама же территория вокруг церкви облагородилась детской площадкой, туалетом для паломников, ларьком для продажи церковной утвари. Неподалёку выстроили пятиглавый храм в честь князя Игоря Черниговского и поставили два памятника святым. Красивый храм, величественный и огромный. Но какой-то он пока холодный, высокомерный, в него не тянет заходить, как в старую переделкинскую церковь, где отца отпевали в 2003 году. Сейчас дорога к патриаршей даче выливается тщательнейшим образом, асфальт выглядит так, как будто его каждый день моют шампунем. При жизни отца возле церквушки зачастую околачивались местные пьянчужки, асфальт был весь в рытвинах, вокруг была тишина, стрекотали кузнечики в зарослях полыни и иван-чая.

Мы любили ходить за водой (когда не работал водопровод) к святым источникам недалеко от нашего Зелёного Тупика, рядом с кардиологическим санаторием для ветеранов войны. Воздух был чистейший, хоть ложкой его ешь, а ведь от Москвы Переделкино отделяло всего двадцать минут на электричке.

Лишь одно осталось практически неизменным — старое «писательское» кладбище в Переделкине, где по-прежнему после четырёх вечера пусто, даже страшновато — персонала никакого нет. Разрушаются старые плиты на могилах, прорастая мхом и сорняками, колышутся высокие деревья над могилами известных писателей: Пастернака, Тихонова, Чуковского, у забора — заросли репейника, крапивы и огромные, в человеческий рост, лопухи...

На переделкинском кладбище отец и нашёл своё успокоение, о чём просил в завещании, — он окончательно вернулся на Родину. А жена его Наталья Кузнецова и её мама навсегда остались в Германии. Недалеко от отца могила Григория Поженяна — они стали соседями и по кладбищу, в этом есть что-то символическое.

* * *

Вернёмся к нашему второму знакомству на «Букере». Первое, понятно, состоялось в момент моего появления на свет. Но отец с мамой развелись, когда мне было четыре года, а потом мама снова вышла замуж, отчим меня удочерил, и я носила его фамилию.

Собственно, именно на вручении «Букера» мы и познакомились по-настоящему. Сидя за праздничным столом, выпили на брудершафт (до этого три года в письмах были на «вы») и отец расположил меня к себе, рассказав, как познакомился с мамой: «С обеими своими жёнами я познакомился в буфете ЦДЛ».

Ох, уж этот знаменитый буфет ЦДЛ, на стенах которого были всевозможные подписи писателей, дружеские и не очень рисунки-шаржи всех тех, кто когда-либо посещал его — от Михаила Светлова и Николая Погодина до Сергея Михалкова, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной!.. Отцова подпись тоже красовалась там до его отъезда в эмиграцию и «назначения» его диссидентом.

Отец рассказывал, что мама была красавицей, упомянул о том, что до сих пор помнит, в какое платье она была тогда одета. С гордостью подчеркнул, что обе его жены были красавицами. Мне кажется, что для него это было в какой-то мере самоутверждением — из-за большого, почти во всю щеку родимого пятна он считал себя некрасивым. Правда, когда я его увидела, пятна уже не было, с этим великолепно справились немецкие врачи.

Потом отец попросил проводить его на мамину могилу. Перед отъездом подарил мне «Генерала и его армию» — книгу, изданную «Книжной палатой» (первое книжное издание), «Верного Руслана» (почему-то в сборнике рассказов про собак) и тоненькую, невзрачную книжечку с «Большой рудой» (с которой он вошёл в большую литературу).

Вскоре они с Наташей уехали обратно в Германию. Потом снова были письма. Но уже другие. А в феврале 1997 года умерла его Наташенька. Это было огромное горе для него — в эмиграции они были всем друг для друга, там к тому времени у них почти не осталось друзей. Он вызвал меня к себе, и мы вместе совершили сказочное путешествие по Европе. Я открывала отца для себя — ведь мы не знали ничего друг о друге почти тридцать лет. Он тоже заново меня узнавал.

Я прилетела к нему в Германию в конце октября. С визой помог друг, который попросил знакомого немца прислать мне приглашение. Бедный отец даже не имел права меня приглашать — он сам имел статус беженца (на руках был нансеновский белый паспорт). Немецкое гражданство Владимов мог бы получить сразу, если бы знал немецкий язык, а так, согласно немецким законам, получил гражданство только через пятнадцать лет.

Отец встретил меня в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Увидев его, я ужаснулась: когда он приезжал с Наташей на вручение Букера, то имел ухоженный, лощёный вид — в светлом, из тонкого драпа осеннем пальто, приличном тёмном костюме в мелкую полоску, в тёмных очках, закрывавших пол-лица, — типичный иностранец. А сейчас мне навстречу вышел сгорбленный человек в тёмно-зелёной, явно жениной кофте, в тренировочных брюках с пузырями на коленях, с давно не стриженными седыми с желтизной волосами. Общее впечатление огромного несчастья дополняла коричневая сумка из кусочков кожи, также явно дамская...

Жил отец в Нидернхаузене — маленьком городишке с населением не более десяти тысяч, посёлок городского типа по нашим меркам, но это был всё-таки настоящий город с банком, множеством магазинчиков, ресторанами, бензоколонками. До Франкфурта оттуда всего сорок минут на машине. И четырнадцать километров до Висбадена — того самого, где в самом крупном в Европе казино прожигал жизнь, а заодно и гонорары Фёдор Михайлович Достоевский.

С казино в Висбадене у отца была связана забавная история. Он в Германии буквально заболел компьютерами (хотя ему в то время уже было лет шестьдесят) и мечтал о ноутбуке. Тогда они были ещё очень дорогими. И вот отец с женой отправились в казино. Наташа поставила на один какой-то номер 100 марок — все деньги, что у неё были. И этот номер выиграл. Она получила 3 500 марок, на которые и купила отцу желанную игрушку. Рассказывая мне эту историю, отец добавил назидательно: «Вот что значит первый раз! Новичкам всегда везёт. Хорошо, что у нас хватило ума вовремя остановиться и уйти».

Мы проехали весь Нидернхаузен и поднялись на горушку, вдоль которой стояли семь или восемь девятиэтажных домов. Отцовский дом был на вершине горы, позади дома виднелись мягкие холмы, поросшие густым лесом, напротив дома лес окружала ограда, за которой я заметила каких-то животных. Увидев нас, к решётке сразу же подошла молодая олениха, доверчиво ткнула в ладонь бархатными губами. За ней потянулись несколько оленей с красивыми ветвистыми рогами.

— Какая прелесть, ручные олени, надо же, прямо возле твоего дома живут! — наивно воскликнула я.

— Ты особо не обольщайся, — мрачно заметил отец, — это же ходячий обед, их специально разводят и держат тут за решёткой для ресторана. Любимое блюдо у немцев здесь — оленина с брусничным вареньем.

— Вот гады!

— А сами дома знаешь кому принадлежат? Одному доктору медицины. Он сначала один дом построил и стал сдавать, а потом на доходы от арендной платы построил ещё восемь.

— Ничего себе!

— В нашем доме в основном живет всякая гольтьба вроде меня, несколько армян, евреев, поляков, но всех нас называют русскими. Есть немного немцев. Так у нас в доме живёт человек по фамилии Кальтенбруннер, представляешь?

— А Бормана нет?

— Нет. А вот с Мюллером я пару раз встречался в бассейне. У нас в доме на первом этаже есть бассейн. Я плачу две марки в месяц и могу им пользоваться в любое время суток. Пока ты здесь — ходи хоть каждый день.

Четырёхкомнатную квартиру в этом доме отец снимал в своё время для большой семьи — он вывез в Германию жену с тещей, которая его боготворила и очень

им гордилась. Правда, отец говорил, что порой жалеет о том, что вывез тещу за границу: она прожила после переезда всего три года, а в России, по мнению отца, могла бы ещё жить и жить. «Нельзя пожилых людей лишать корней», — говорил он позднее.

В квартире отца я обратила внимание на удивительный порядок в рабочем кабинете, так не сочетающийся с его поношенной одеждой: на стене в отдельных гнёздах висели различные инструменты — и для ремонта автомобиля, и для многих других целей, о назначении большинства я только догадывалась. Я, раскрыв рот, рассматривала это богатство — ведь я ничего не знала об отце.

Ещё в кабинете были огромный письменный стол, стационарный компьютер, стеллаж во всю стенку (сделанный отцом), заполненный книгами. Многие из них были подписаны очень известными писателями и общественными деятелями: Бёллем, Довлатовым, Максимовым, Войновичем, Аксёновым, Копелевым, Сахаровым, Боннэр.

Я удивилась такому количеству инструментов в его кабинете вслух: мол, за чем писателю делать то, что могут сделать наёмные рабочие? Отец лукаво улыбнулся и сказал: «Ты не думай, я не какой-нибудь “вшивый интеллигент”, который не знает, каким концом вогнать гвоздь в стенку. Я очень люблю возиться с инструментами, чинить, ремонтировать, делать многое своими руками. Ты знаешь, когда-то я изобрёл важную деталь к двигателю внутреннего сгорания, у меня даже есть патент на изобретение!»

Тут я обратила внимание на его руки — широкие, большие, мозолистые, с грязью под ногтями — руки настоящего мужика, твёрдо стоящего на земле, который может и собрать мебель, и починить машину, и покрасить стены, и отремонтировать любую сантехнику. При этом не будет зависеть от милостей природы и капризов слесаря, в чём я убедилась позднее, когда он поселился в Переделкине. Всю сантехнику на даче отец чинил сам, столкнувшись с неумением переделкинского «специалиста». И очень этим гордился — ничуть не меньше, чем литературной премией.

Многое понять в характере отца мне помог его любимый литературный герой, которым он восхищался в юности — Мартин Иден — простой рабочий парень, матрос, который сам себя сделал.

Из кабинета отца мы вышли на балкон, и я восхитилась открывшимся видом на лесистые горы и виднеющиеся вдалеке домики с черепичными крышами. Отец сказал, что часто на город опускается туман, такой сильный, что не видно даже погружённой в него руки...

Каждый Новый год отец выходил на балкон и, пока подвыпившие бургеры производили залпы салюта в честь праздника, делал один выстрел в воздух из браунинга, который ему подарил сын (или внук? — уже не помню) Хайнца Гудериана. «Он прочитал моего “Генерала” и пришёл ко мне — поблагодарить меня за то, что написал правду о Гудериане, без осуждения и приукрашивания».

«А вон там видно муниципальное кладбище, на котором похоронены моя Наташенька и тёща, — мы потом сходим с тобой туда».

Позднее мы сходили с отцом на кладбище, и меня поразила разница с нашими мало ухоженными погостами. «Но, к сожалению, у немцев чувство порядка сочетается с каким-то бездушным практицизмом. Например, когда Наташенька умерла и мне позвонили из больницы, я приехал и попросил дать возможность с ней проститься. Они очень удивились: зачем мне это надо? Ну, потом согласились, выкатили мне каталку с её телом и показали через стекло — мол, и достаточно... А с кладбищем тоже всё практично до жути — ровно через тридцать лет могилы уничтожаются и занимаются новыми усопшими. Исключение делается только для выдающихся деятелей, имеющих особое значение для города или страны, поэтому я очень переживаю за мою Ташечку — мне её не удастся вывезти в Россию, это очень дорого и сложно, а ведь она, как и я, мечтала лежать на Родине», — грустно заметил отец.

Отец много рассказывал мне о Наташе, а я вспоминала нашу первую встречу с ней в Москве. Я позвонила в дверь квартиры Юза Алешковского, и мне навстречу вышла маленькая, изящная, но какая-то суетливая и очень быстро, непрерывно говорящая женщина.

Как я потом узнала, в Москве она простудилась, и у неё в тот момент была высокая температура. «Это не я, не я, не из-за меня ваш папа ушёл от вашей мамы, мы встретились гораздо позже!» — почти с порога закричала она, — так её мучила эта мысль. Мне показалось, что отец относился к ней как к любимому, но порой раздражающему непрерывной болтовнёй и желанием привлечь внимание ребёнку.

Через десять минут нашей с ней беседы за столом я увидела, что отец отключился от нашего щебетания и стал смотреть в сторону и даже говорить вслух, может быть, проговаривая какую-то очередную мысль, которую ему хотелось записать...

Ко мне Наташа отнеслась очень внимательно, ей не хотелось, чтобы мы с отцом потеряли друг друга, едва обретя. Первое письмо ко мне отца пропало, и он не получил от меня ответа. Они оба взволновались до чрезвычайности, но Наташа особенно, поэтому она и стала просить всех знакомых в Москве меня разыскать и рассказать про пропажу письма, чтобы я не думала, что отец не хочет со мной общаться.

А на вручении «Букера» Наташа с гордостью представляла меня как дочку Жоры (так она всегда называла отца) общим знакомым. Я запомнила Елену Боннэр, скромно одетую пожилую женщину с тяжёлым седым пучком волос, подходившую к нашему столику, чтобы поздравить отца с вручением премии (а он, бедный, всё сомневался, что получит её). Запомнила переводчицу Елену Ржевскую, про которую отец рассказал, что это она нашла и привезла в СССР челюсть



Г. Владимов с женой Н. Кузнецовой на обеде по случаю вручения премии Русский Букер в Центральном доме архитектора, 1995

Гитлера — сей раритет наши солдаты обнаружили в бункере нацистского диктатора в 1945 году.

Очень чётко в память врезалась картина, как на нас с отцом и Наташей летела в страстном, но чрезвычайно нечётком порыве поздороваться после долгой разлуки, с глазами абсолютно инопланетными, Белла Ахмадулина, а её муж Борис Мессерер в последнюю минуту подхватил её за талию — наверное, чтобы не унесло ветром...

Были там и Андрей Вознесенский в белом шарфе, обмотанном вокруг шеи, и его жена, элегантная Зоя Богуславская, но они довольно холодно поздравили отца, произнося свои по-

здравления с кислыми лицами, почти без эмоций. И Наташа воспринимала всё обострённо, так, будто обидели лично её, а не мужа.

Уже в Нидернхаузене отец рассказал мне трагическую историю, случившуюся, когда Наташе было шестнадцать лет. Он упомянул об этом, когда мы заговорили о клонировании людей: «Никакое клонирование не вернёт мне мою Наташеньку, такую, какой она была, после пережитого испытания... Она однажды вернулась из школы и увидела своего отца в петле, и никто не узнал, почему он это сделал... — И добавил: — Клонирование могло бы мне вернуть красивую куклу, но души моей Наташи, её души, перенёсшей большие испытания, мужественной, ранимой, преданной — никто бы не смог повторить...»

Она несколько раз была замужем; вторым её мужем был великий «грустный клоун» Леонид Енгибаров. К нему отец относился с большим пиететом и даже гордился, что Наташа была за ним замужем. Он говорил, что судьба «грустного клоуна» типична для нашей страны — его недооценивали при жизни, мало выпускали за рубеж работать, всем заправлял тогда «солнечный клоун» Олег Попов, который интриговал против Лёни (так, по крайней мере, говорил отец со слов Наташи). Постепенно Леонид спился. И умер молодым, очень рано, в 1972 году, в самый разгар страшных московских торфяных пожаров. Судьба, похожая на судьбу Высоцкого, которого отец тоже знал в молодости.

Наталья Кузнецова была известным критиком, писала статьи, которые после её смерти отец собрал в книгу и на свои деньги издал. Литературовед Лев Аннинский называл Наташу «серебряным пёрышком эмиграции».

Она была необыкновенно предана отцу, оберегала от любых неприятностей и от людей, которые могли бы ему повредить. Настоящая боевая подруга, говорил

про неё отец. В Германии, если кто-то хотел встретиться с отцом, должен был пройти её контроль, и она решала, допустить ли до «тела» нежданного гостя. Она не дала отцу встретиться с Ильёй Глазуновым, который хотел написать его портрет, — а жаль. Отец был Наташе вместо ребёнка, она не стала заводить детей, чтобы больше времени уделять своему Жорику. Ему нравилось это имя, и я по его просьбе стала его называть так же.

Из аэропорта мы приехали в Нидернхаузен, закинули вещи в квартиру и поехали покупать продукты в ближайший супермаркет в Висбаден — в Нидернхаузене отец почему-то этого не делал. Мы ходили по магазину, кидая продукты в коляску, затем в честь моего приезда отец добавил к ним джин, тоник и грейпфрутовый сок.

«Я научу тебя делать “коктейль Владимова” — один стаканчик джина, один — тоника и два — грейпфрутового сока», — объяснил он мне. А потом жадно прислушался — по магазину шла русская пара и что-то оживлённо обсуждала.

«Знала бы ты, как мне не хватает русской речи! К немецкому я так и не привык — всё-таки я оказался за рубежом в пятьдесят два года, это очень много для привыкания к чужому языку. Ну, есть, конечно, небольшая диаспора во Франкфурте, с представителями которой мы с Наташей общались, но этого слишком мало. Так что в основном мы варились в собственном соку. Наташа хотя бы общалась с людьми, когда записывала свои выступления на Радио “Свобода”, я же после ухода из “Граней” стал мало видеть людей. Поэтому нам так нравилось, когда приезжал кто-нибудь из России, например, когда приезжал Лёва Анненский с Шурой, его женой. Ты знаешь, я постоянно покупаю во Франкфурте кассеты с вашими нынешними фильмами. Из недавних мне очень понравились “Окно в Париж” и “Особенности национальной охоты”, я их смотрел раз двадцать, не меньше, и наслаждался языком. Надоели немцы с их скучными новостями и бесконечными шоу для домохозяев, для бургеров с пивом в руках».

От этих слов на меня пахнуло таким застарелым одиночеством... Стало его безумно жалко. Позднее отец сказал, что по приезде в Германию лет пять не мог писать — так давили тоска и сожаление, что уехал, что не дождался краха империи, оставалось каких-то восемь лет. Поэтому и «Генерала» он писал так долго, почти пятнадцать лет, хотя начинал собирать материалы ещё в России. Кроме невероятной писательской тщательности здесь была ещё и жуткая ностальгия.

Отец очень переживал, что не был во время августовского путча 1991 года в Москве, что в самый интересный период, период коренного перелома, слома строя, не был в своей стране, со своим народом. Он называл ликвидацию путча 1991 года «августовской революцией». В этом было много наивной романтики — отец почти пятнадцать лет прожил в Германии практически безвылазно, не считая коротких поездок по Европе. Один раз с Наташей они ездили в Париж, где он с удовольствием общался со своим другом, замечательным писателем-фронтвиком Виктором Некрасовым, автором повести «В окопах Сталинграда».

Тот много лет жил в Париже, немного знал французский. Они вдвоём с отцом много гуляли по Парижу, причём Некрасов в совершенстве знал все питейные заведения французской столицы, и во время своих долгих прогулок они обошли их все. Там же отец встречался с Максимовым, Синявским и другими известными эмигрантами.

Второе путешествие отец с Наташей предприняли в Рим. Я запомнила, как отец рассказывал об очаровательном плутовстве итальянских официантов, которые радостно обсчитывали наивных туристов на свои миллионные лиры, но делали это изящно, красиво и часто улаждали слух какими-нибудь знаменитыми ариями в духе Энрико Карузо или Марио дель Монако.

В 1990 году отец приезжал ненадолго в Санкт-Петербург (тогда ещё Ленинград) на съезд соотечественников. Он был всего три дня, и ему всё казалось необыкновенным, таким отличным от той советской действительности, которую он запомнил. Впрочем, полемические статьи, которые отец писал для «Московских новостей» на разные темы, были злободневные, глубокие, содержательные и на много опередившие своё время. Меня очень удивляла эта двойственность в отце: сочетание житейской наивности и непрактичности с глубоким анализом происходящих событий и мгновенного схватывания самой сути процесса. А ведь всё, что он знал о России начала 1990-х годов или, как сейчас говорят, «лихих девяностых», черпал из ТВ, газет и рассказов приезжающих погостить друзей.

Во время нашей поездки по Европе мы говорили о его литературных планах. Замыслы были очень интересные. Например, ему очень хотелось написать продолжение истории Христа, Его земной жизни. Отец всерьёз верил апокрифам, согласно которым Иисуса спасли от распятия, и Он жил долго и счастливо в любви и согласии с Марией Магдалиной, а она родила ему кучу детишек.

Отец хотел закончить роман «Долог путь до Типперэри». К сожалению, этим планам не суждено было сбыться — напечатана только первая часть.

Ещё мечталось ему написать детектив, но никак не придумывался главный герой. Мы перебирали известных персонажей, и наконец мне пришла в голову идея, которая понравилась отцу. Я предложила ему в качестве главного героя молодого писателя, партнёром которого (своего рода Ватсоном в юбке) должна была стать его дочка. Они переписываются и в письмах раскрывают давние преступления. Увы, остался только замысел...

Был ещё чудесный замысел написать о писателях и общественных деятелях, с которыми отца сводила судьба, хотя бы по несколько страничек о каждом, такие маленькие рассказы. Я видела составленный им список имён: Юрий Казаков, Григорий Поженян, Константин Симонов, Александр Твардовский, Сергей Довлатов, Владимир Высоцкий, Евгений Урбанский, Василий Ордынский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер, Андрей Битов и многие другие — в списке было много людей, которыми гордится Россия. Это было бы очень интересно, но увы...

Считал ли он себя профессиональным писателем, как относился к славе, мечтал ли о ней? Помню, во время нашего путешествия я рассказала ему об интервью с Чингизом Айтматовым в «Аргументах и фактах», который сам себя назвал «классиком», и о том, как меня резануло это, — я Айтматова очень любила, особенно «Буранный полустанок». Отец ответил, что, в отличие от Айтматова, не считает себя «классиком», более того — он вообще не профессионал, а только любитель, потому что, по его мнению, писать нужно только о том, что любишь. «Если я пишу о том, что интересно мне, будет интересно и читателям», — говорил отец.

Писал отец всегда по утрам, уже в шесть он был на ногах, писал часов до двух-трёх, потом обедал и занимался физическим трудом или смотрел телевизор, слушая в основном новости. Он часто повторял, что литература не делается «во вторую смену!».

Знал ли он себе цену? Думаю, что, конечно, знал. Однажды он сказал мне, лукаво улыбнувшись: «А ведь у меня совершенно завораживающий стиль, поэтому я никогда не лежу на полках». И это правда — в магазинах книги отца никогда не залёживались.

И ещё он мне рассказал, что папа римский Иоанн Павел II называл его «Генерала» глубоко христианской книгой. Чувствовалось, что отцу эти слова запали в душу. В связи с этим мне вспоминаются слова, сказанные русским священником генералу Гудериану, когда по приказу Гудериана открыли тюрьму в захваченном немцами городе, и там обнаружили тела людей, расстрелянных заранее, своими. Гудериан ходил между трупов погибших и удивлялся, как могут свои уничтожать своих. А священник ему сказал только одно: «Не кладите персты в наши раны».

Славы отцу, может, и хотелось, но скорее как заслуженной оценки его творчества, а так он любил только одно — писать. Хотя, конечно, обидало, что «братья-писатели», как говорил отец, постоянно дают друг другу премии, как в басне Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку».

Как-то он сказал мне, что был бы рад получить премию «Триумф», которую в тот год дали за прозу Булату Окуджаве. Отец сказал: «Правильно, что дали — Булатика я очень люблю, он необыкновенно талантливый поэт, бард, но ведь проза же моя лучше?» Отец думал, что его обходят вниманием потому, что он не живёт постоянно в России.

То же было и с премией Солженицына, которую отец, как мне кажется, заслуживал, но по тем же причинам не получил.

* * *

Я прожила у отца неделю — он заканчивал вычитывать вёрстку своего четырёхтомника. (Он очень гордился, что сам научился верстать свои книги.) Наконец мы решили отправиться в путешествие. Я мечтала попасть в Италию, даже

прихватила с собой путеводитель. Но отец побоялся взять меня туда — он решил, что раз у меня нет итальянской визы, могут быть неприятности при пересечении границы. Мы оба не знали тогда, что Италия уже вошла в Шенген. Отец предложил поехать в Барселону: он когда-то смотрел репортаж об Олимпиаде в Барселоне, и город ему показался фантастически красивым.

Отец вёл машину лихо, я сидела рядом за штурмана, держа на коленях атлас дорог Европы и всматриваясь в дорожные знаки. Отец заявил, что после Германии он всецело доверяет мне объясняться с людьми, ибо английского не знает нисколько. Проехали Карлсруэ, к вечеру попали в Оффенбург — милейший городок, с чудесными немецкими игрушечными домиками, маленькой площадью, вымощенной булыжником и украшенной памятником не помню кому. Поужинали в каком-то ресторанчике и купили в номер бутылку красного вина и две пачки «Данхилла».

Это стало нашей своеобразной традицией: во время всего путешествия мы каждый вечер выпивали по бутылке вина — красного, розового или белого — и курили, курили... безбожно, и разговаривали, разговаривали... Меня это тяготило (физически) — я очень редко пью вино, только по праздникам, и каждодневное употребление спиртного на протяжении двух недель путешествия вызывало разбитость по утрам. Но я не роптала — понимала, что отцу это сейчас необходимо. Так он справлялся с огромным горем от потери Наташеньки и ощущением перемен в наступающей жизни. Зато мы много разговаривали, отец вспоминал детство, молодость, первую любовь, людей, с которыми его сводила жизнь, — ему так проще было раскрепоститься, начать доверять мне.

На следующий день мы немного побродили по Оффенбургу, зашли в какой-то магазинчик, и отец потряс меня удивительной наивностью, спросив небрежно: «А у кого ты одеваешься?» Он знал, что Наташа себе периодически заказывает какие-то модные тряпки по каталогам одежды, и предполагал, что я делаю так же. Увы! В то время я была совершенно нищей аспиранткой, подрабатывавшей дежурствами в больнице. Нет, жить было весело, была компания ребят, которые часто приходили в гости, я не жалела деньги на подарки или книги, но остальное... Мимо остального я проходила, закрывая глаза, убеждая себя, что мне всё это необязательно — разительный контраст с моей жизнью в советские времена, когда была жива мама.

Это ещё одна удивительная особенность отца — рассеянность, отстранённость от бытовых вопросов (которые ему были скучны) в сочетании с невероятным интересом к происходящему вокруг него, с глубоким анализом деталей, ситуаций, черт, манеры поведения людей, особенностей их речи. Многое затем отразилось в его произведениях.

При этом собственной внешности, своей одежде отец не придавал особого значения: он мог легко причесаться пятернёй (и то по моей просьбе!) В нашем путешествии он имел неосторожность доверить мне стрижку своих отросших

волос, а я, совершенно не умея этого делать, дрожащими руками соорудила что-то «под горшок». Отца стрижка несколько не смутила: «Спасибо, хоть голове легче дышится».

Он мог надеть мятый костюм без галстука (цена при этом внимание, он с удовольствием носил галстук, который мы купили ему в Барселоне или Монте-Карло, но если бы не купили — не беда, обошёлся бы запросто). Ему была нужна помощница, слушательница, нянька, подруга, которая бы его понимала и помогала бы справляться с этими мелочами. Как здорово, что столько лет с ним рядом была Наташа!

Зато техника должна была быть в порядке, поэтому он так любил свой «Пасатик» (поддерживал его на ходу больше восемнадцати лет!). Зато ноутбук должен был быть лучшим.

Тщательность в изучении деталей, вживание в жизнь тех, о ком писал, начались ещё с «Большой руды»: отцу дали командировку на Курскую аномалию — тогда писатели могли получать такие командировки, но многие никуда не ездили, предпочитали, сидя дома, изучать материал по газетам. Отец же провёл там, на стройке, почти четыре месяца, разговаривая с водителями, сторожами, диспетчерами. Было ему тогда всего 29 лет. Повесть вышла в «Новом мире», и отец проснулся знаменитым писателем — её перевели на семнадцать языков, сняли в кино, поставили в театре, на радио, на телевидении.

Отец рассказывал, что Василий Шукшин своим друзьям говорил с досадой, что это он должен был написать «Большую руду».

Отец крепко подружился с актёром Евгением Урбанским и его женой Дзидрой Ритенбергой. Урбанский сыграл главную роль — шофёра Виктора Пронякина в одноимённом фильме, снятом режиссёром Василием Ордынским. Режиссёр часто бывал у нас дома в те времена и, со слов отца, видел меня годовалую. Он сказал тогда отцу: «Жора, это лучшее твоё произведение».

Евгений Урбанский был невероятно обаятельным человеком, в компании от него все не могли оторвать глаз — он великолепно пел и играл на гитаре. Для отца была большим ударом нелепая и страшная гибель актёра на съёмках фильма «Директор». Особенно потому, что всё произошло так, как было описано в «Большой руде»: он врезался на автомобиле в груды песка и сломал пятый и шестой шейные позвонки — так погиб шофёр Пронякин в повести отца. Отец счёл это каким-то чудовищным знаком и сказал мне, что чувствует себя виноватым в гибели Жени, что это он ему предсказал такой конец...

Для «Трёх минут молчания» отец устроился работать матросом на рыболовецкое судно, добывавшее норвежскую селёдку. Он был в плавании вместе с командой три с половиной месяца, по-честному разделяя с ними все трудности лова. Потом отец подарил свою книжку боцману, который воскликнул: «А, помню-помню! Такой молчаливый, странный был матрос, всё строчил что-то

в свой блокнотик в кубрике...» А ведь отец мог побыть в командировке на судне в качестве журналиста, гостя. Но так он не хотел. Может быть, поэтому все его произведения абсолютно достоверны, очень точны по фактуре.

Я как-то спросила его, почему в «Трёх минутах молчания», где описывается жизнь моряков, занятых невероятно тяжёлым трудом, нет никакой ненормативной лексики. А отец сказал: «Зачем? Можно так описать всё, что ты хочешь, что она не понадобится. Для того чтобы матюги использовать, не надо большого искусства. Ты попробуй обойтись без этого, чтобы тебе поверили». И — верили, верили безусловно.

* * *

На выезде из Оффенбурга мы слегка «поцеловали» чью-то машину, погнув собственный бампер, и постарались быстро смыться с «места преступления», чтобы нас не задерживали для разборок со страховкой. С тех пор во время каждой парковки отец стал спрашивать, проходим ли мы по расстоянию, есть ли безопасный зазор между другими машинами, и только тогда я узнала, что фактически он видит чётко только одним глазом. На втором была уже почти созревшая катаракта — он ускорил её созревание длительным сидением за маленьким экраном ноутбука. Несколько раз, наливая мне «коктейль Владимова», отец промахивался мимо рюмки, но я продолжала всецело ему доверять нашу безопасность — я знала, что он очень опытный водитель с более чем сорокалетним стажем.

Мы быстро добрались до Страсбурга, уже французского городка, причём оба были потрясены тем, что на границе никто нас не проверял — таможенники стояли к нам спиной и оживлённо обсуждали что-то явно более интересное, чем наши иностранные лица.

Затем мы тронулись дальше и к вечеру оказались в маленьком французском городке Дижоне. Сразу почему-то вспомнились мушкетёры и незабвенный д'Артаньян. Поселились в отеле с чудесным названием «Король Дюк». В памяти остались хрустящие круассаны, которые нам подали утром на завтрак. Завтрак был полноценный, почти шведский стол; в других местах такой роскоши нам не доставалось — у отца было довольно туго с деньгами, и мы старались поселиться по возможности дешевле, максимум в двухзвёздочных гостиницах.

На следующий день был Лион. Запомнились королевский дворец и маленькое кафе на заправке, где отец по моей просьбе купил мне музыкальную игрушку. Стоила она немало — 200 франков, но меня пленила совершенно: на круглой площадке устроен фонарь, к которому прислонился играющий на гитаре мышонок. Вся конструкция заводилась с обратной стороны ключом. Эта музыкальная шкатулка у меня хранится до сих пор — я включала её маленькой дочке Кате, и та приходила в бурный восторг. Правда, после её шаловливых ручек пришлось шкатулку чинить, и мастер строго велел не заводить её больше чем на девять обо-

ротом, чтобы снова не сорвать механизм. Она и поныне стоит у меня в квартире как память о нашем чудесном путешествии.

Отец был страшно удивлён моей просьбой и говорил, что не ожидал встретить женщину, которая интересуется не тряпками, а игрушками и куклами.

Два дня мы провели в Марселе, это были очень насыщенные дни, остались какие-то очень яркие картинки города. При этом путеводителя у нас не было, и мы сами решали, куда нам выбраться, для подсказки я использовала открытки в магазинах — решив, что на них обязательно должны быть изображены какие-нибудь достопримечательности, которые обязательно посещают туристы.

Одну ночь мы провели в славном недорогом двухзвёздочном отеле, но на следующий день зачем-то решили в нём не оставаться, а перебраться по улице повыше, в более дешёвый. То была роковая ошибка, о которой мы вспоминали потом с улыбкой, но тогда нам было не до смеха. Всё по нашей русской поговорке: «Скупой платит дважды».

Дверь открыл весьма подозрительного вида портье, одноглазый, с наглой усмешкой, по лицу которого нам стало ясно сразу, что мы имеем дело с шельмой. Но мы с отцом всё же не передумали. Не дрогнули мы и тогда, когда портье сказал, что лифта нет, и потащил нас вместе с багажом по узкой винтовой лестнице на последний этаж. Потом он торжественно объявил, что удобства — на этаже (кажется, это был единственный раз, когда мы столкнулись с этим весьма необычным для французских отелей явлением).

В номере оказались две кровати, жалобно закряхтевшие под нашими телами, и покосившийся шкаф, ножка которого обрушилась при моей первой попытке открыть дверцу и повесить вещи. Стаканов в номере тоже не оказалось, пришлось призвать портье, который явился далеко не сразу и неохотно выдал нам ровно два стакана и пожелтевшее полотенце, весьма подозрительно посматривая на нас, как бы решая для себя, можем ли мы сбежать с таким богатством.

Ночка в отеле оказалась под стать всему остальному — окна наши выходили на проезжую часть, а отель поднимался в гору, и посему все автомашины и мотоциклы набирали скорость, их рёв мы слушали всю ночь, проклиная всё на свете.

Потом-то мы хохотали, вспоминая это приключение. Нас нечаянно занесло в отель для встреч с девицами лёгкого поведения.

Дальнейший путь лежал через Прованс и маленькие городки с волшебными звучащими для слуха названиями, вроде Клермон-Ферран и пр. Сразу почему-то вспоминался юный д'Артаньян со своим необыкновенного цвета мерином.

Мы миновали осенние Альпы, проехали рядом со знаменитым перевалом Сен-Готар и говорили о подвиге Суворова и о русских солдатах, которые настолько абсолютно верили ему, что прошли там, где это казалось совершенно невозможным.

Отец говорил о том, что ему симпатичны Суворов и Кутузов, которые очень заботились о своих солдатах. Речь зашла о «Генерале», и отец упомянул, что ему Георгий Жуков не нравится — типичный сталинский полководец, который совершенно не жалел людей, по принципу «лес рубят — щепки летят». При этом воздавал должное Жукову за вклад в победу, но гораздо больше восхищался другими полководцами, например, Рокоссовским и Чибисовым. На мой вопрос, откуда взялся Кобрисов и вообще возник интерес к этой теме, ответил, что в молодости, в полном безденежье, ещё до «Большой руды» подрабатывал написанием литературных мемуаров престарелых военачальников. Один был скучнейший генерал, который сражался ещё в Гражданскую войну, вместе с Будённым, и помнил только свои брюки с лампасами и кличку коня, на котором скакал. А другой был Чибисов, прототип Кобрисова, который как-то сказал ему: «История Великой Отечественной войны, Георгий Николаевич — история тайных преступлений, о которых мы когда-нибудь, может быть, узнаем».

Помню один день, кажется, на подъезде к Греноблю, когда на дорогу напал чудовищный туман, и видимость была меньше метра. Устав ползти наощупь, мы решили передохнуть в маленькой горной таверне. Мы вошли, сели. Было пусто, всего два-три путника, не обращавших на нас никакого внимания. И вдруг мы услышали «Марсельезу», которую насвистывал чёрный дрозд. Птица сидела в клетке и самозабвенно свистела французский гимн. Почему-то стало одновременно и смешно, и грустно. Отец усмехнулся, а потом сказал: «Каковы французы, какие патриоты! Почему в этой стране даже птички исполнены патриотизма и знают свой национальный гимн, а мы никак не разберёмся с оным? То поём замечательный гимн Глинки из оперы “Жизнь за царя”, то зачем-то реанимируем бывший советский, заполняем его новыми словами, которые никто не в состоянии запомнить...»

По дороге стали вспоминать песни, которые оба знали с детства. У отца оказались хороший слух и неплохой голос. В этом я убедилась, когда на глазах у изумлённых проезжающих мы с ним громко пели дуэтом «Любо, братцы, любо...». Думаю, такого здесь ещё не слышали.

Отец рассказывал мне о своём детстве. Они с матерью, Марией Оскаровной, эвакуировались в Кутаиси вместе с суворовским училищем им. Дзержинского, где она преподавала русский язык и литературу, и по дороге попали в Саратов или Самару (точно не помню). Там одиннадцатилетний Георгий решил бежать на фронт. Собрал мешок сухарей и наострил лыжи. На окраине города его обнаружили наши бойцы-танкисты и уговорили вернуться домой к матери, чтобы немного подрасти для борьбы с врагами. Хотел мстить за отца — Николай Степанович Волосевич пропал без вести где-то в Белоруссии ещё в первые дни войны. Много лет потом отец пытался его разыскать, но безуспешно. Вообще он очень тянулся к отцу и всегда жалел, что мать с ним разошлась, когда ему было то ли семь, то ли восемь лет.

Николай Степанович женился во второй раз, от этого брака у него родилась дочь Людмила, которую отец также безуспешно пытался разыскать. Кстати, писательство для Георгия Владимова, по-видимому, наследственное, от Николая Степановича — со слов отца, тот тоже писал какой-то большой роман до войны.

Ещё отец вспоминал, как по дороге в эвакуацию, где-то на Кавказе, нечаянно угодил в переполненный водой арык, и его вытащил чеченский мальчишка. Отец часто говорил, что не выносит, когда кавказцев называют «чёрными» и считают врагами.

Рассказывал, как ходил к Михаилу Зощенко в 1946 году (после знаменитого постановления о Зощенко и Ахматовой). Пошёл с другом Генкой Панариным, тоже суворовцем, и с первой любовью, девочкой Викой. Они были в парадной суворовской форме (надели специально парадную форму, чтобы показать своё уважение обруганному столь бесчеловечно писателю, поддержать его), а девочка была в бело-красном платье, «цвета польских конфедератов», как говорил отец. Этот рассказ вошёл в первую часть (опубликованную) романа «Долог путь до Типперэри». Зощенко был страшно напуган их визитом, и всё торопился быстрее выставить за дверь. Видимо, был совершенно затравлен к этому времени нашими доблестным «органами»... Отец называл себя со смехом «самым юным диссидентом в истории человечества», — действительно, ему тогда было всего 15 лет. Вернувшись домой, Георгий всё рассказал матери. Стенки коммуналки, где они тогда жили, были очень тонкими, и кто-то из соседей не поленился и настучал на ребят. Их по очереди вызывали к следователю, лейтенанту Мякушко, и стращали по-чёрному: грозили исключить из училища, посадить и их самих, и родителей. Словом, добивались признания, что ребята были у Зощенко до печально известного постановления партии о Зощенко и Ахматовой, где последнюю называли «блудницей». Мол, приходили просто так, по зову души...

Что ж, власти добились своего — ребята дрогнули, не захотев подставлять своих родителей, и сказали так, как от них требовали. Благодаря этому отцу удалось закончить суворовское училище, «питомник волчат», как отец сам называл — училище носило гордое имя Дзержинского. Но Георгий Владимов не стал продолжать военную карьеру, предпочтя учёбу на юридическом факультете Ленинградского университета.

В университете ему пришлось ещё раз столкнуться с лейтенантом госбезопасности Мякушко, который поручил следить за моим неблагонадёжным отцом его сокурснику, а потом доносить о его разговорах и замыслах. Тот оказался порядочным человеком, пришёл к Владимову, рассказал о своём поручении и спросил совета. Тот разрешил ему доносить на себя. Доносы эти они сочиняли вместе, записывая всё, что приходило в голову. Вот такая была первая проба пера будущего писателя. И многие годы лейтенант кормился этими доносами, не подозревая, кто их автор.

И ещё один рассказ отца запомнился мне. Он должен был составлять вторую часть романа «Долог путь до Типперэри», который отец не успел написать. Излагаю его так, как запомнила с тех пор.

В конце 1952 года была арестована мать Георгия Владимова Мария Оскаровна — по словам отца, за то, что слишком много болтала: может, за анекдот какой или из-за еврейской темы, притом, что бабушка Маруся была до мозга костей коммунисткой — даже после возвращения из тюрьмы, даже после разоблачения культа Сталина на XX съезде она продолжала считать, что во всём виноват Берия, а Сталин ничего не знал.

Так вот, сидит она в Большом доме в Ленинграде, ведётся следствие, а тут умирает Сталин. И отец решил её предупредить, чтобы потерпела, не клепала на себя, чтобы не признавала себя резидентом пяти разведок и прочей чуши, чтобы дело легко развалилось, — уже поговаривали о том, что многих политических заключённых будут выпускать.

А как рассказать ей о смерти Сталина? Отец придумал план: он купил килограмм фиников, из всех вынул косточки, и в один финик сунул записку, в которой ей сообщил эту важную новость. Принёс передачу. Мать прочитала записку и всё поняла. Не стала наговаривать на себя. Ей это, правда, не помогло — её всё равно осудили на десять лет, хотя и с правом переписки. Через два с небольшим года её освободили, а потом и реабилитировали. Такая история.

Потом в нашем путешествии была Ницца, которая запомнилась почему-то разочарованием: может быть, мешал образ, созданный рассказами русских писателей и поэтов. Она оказалась какой-то излишне рабочей и деловой, до нас ей явно не было никакого дела. Слегка примирило нас с Ниццей море, или «моречко», как ласково называл его отец. Мы любовались им во время променада по набережной Ангелов, по которой бегали для моциона толстые французские граждане. Только поднявшись высоко над городом, мы увидели ту Ниццу, которую хотели увидеть, — прекрасные частные виллы с садами, увитые плющом, цветами вечной бугенвиллии.

Может быть, поэтому мы переночевали в Ницце и переместились в Монако. Поднялись на гору, чтобы полюбоваться королевским дворцом, и тут выяснилось, что у отца проблемы с сосудами — он был вынужден останавливаться почти каждые пятьдесят метров, хотя за несколько лет до этого ему уже сделали операцию в Германии, о чём он с гордостью рассказывал. Операция и почти двухнедельное пребывание в больнице были оплачены из страховой кассы. По прибытии в Германию отец вступил в сообщество свободных художников (для людей свободных профессий — музыкантов, писателей, актеров), куда отстёгивал ежемесячно по 120 марок в качестве налога. Я ещё тогда подумала, что у нас в России берут налоги со всего, что возможно, однако вряд ли мне такого рода операция ничего не будет стоить...

На следующее утро мы отправились дальше по Лазурному берегу в сторону Испании. Когда мы подъехали к Барселоне отец твёрдо отказался от предложенного мною посещения музея Дали. Оказалось, что к музеям он совершенно равнодушен. Только Джоконда в Лувре произвела на него впечатление: «Представляешь, смотрю на неё и думаю, кого она только не повидала за это время, всем одинаково улыбаясь своей потусторонней улыбкой!»

Там, в Барселоне, я спросила его про «Верного Руслана». Отец рассказал историю появления этой, с моей точки зрения, самой пронзительной его повести — о караульной собаке. Он тогда работал в «Новом мире» у Твардовского. Приехал знакомый журналист откуда-то с севера и рассказал о пустых, заброшенных лагерях, где когда-то во славу отечества убивали и мучили. Так вот, по территории этих лагерей бегают, не уходя далеко, брошенные караульные собаки, специально обученные охранять эков. Не просто бегают, а будто продолжают нести свою вечную службу. Отца так поразила эта картина, что он почти сразу написал рассказ. И отнёс его Твардовскому. Тот прочитал и сказал, что это целая тема, не для рассказа. Отец послушал Твардовского и написал повесть. Писал несколько лет. И получился шедевр.

Кстати, оказывается, у отца в повести Руслан — кавказская овчарка, а не немецкая, как в одноимённом телефильме. Фильм отцу понравился, понравился и читавший авторский текст замечательный русский актёр Алексей Баталов, с которым отец был знаком через Наташу: жена Баталова, цирковая наездница Гитана, хорошо знала Наташу Кузнецову, бывшую жену Леонида Енгибарова.

В порту Барселоны стояло много роскошных и не очень яхт, которыми любовался отец. Он поделился со мной своей заветной мечтой — купить яхту. Но о том, чтобы осуществить эту мечту без посторонней помощи — какого-нибудь богатого покровителя или поклонника его таланта — было невозможно и мечтать.

Именно так нашёлся в своё время ценитель творчества и спонсор отца — Борис Эрленович Гольдман. Отец был в жутком состоянии после смерти Наташи, и тут вдруг позвонил Гольдман и сказал: «Вы когда-то помогли мне, а теперь я хочу помочь вам».

По телефону Борис Эрленович напомнил отцу об их первой встрече — в 1983 году отец уезжал в эмиграцию, приходило попрощаться много народу, среди них был молодой Борис Гольдман, который ценил классическую русскую литературу, восхищался «Тремя минутами молчания» и пришёл к отцу, чтобы он подписал ему книгу на память. Это он и называл «помощью отца».

Он пригласил отца в Москву, оплатил ему пребывание в городе, помог издать четырёхтомное собрание его сочинений (первое и последнее прижизненное), а потом устроил презентацию по случаю выхода четырёхтомника.

Презентация была очень солидной, проходила она в 1998 году в Москве. На неё Борис Гольдман пригласил много гостей: друзей и знакомых отца из дру-

гих городов России, писательницу, подругу Наташи Ирину Муравьеву из Америки, славистку из Англии Светлану Макмиллин, великих русских артистов, которые были знакомы с отцом либо снимались в фильме по «Большой руде» (Станислава Любшина, Михаила Глузского, Маргариту Терехову, Ролана Быкова), известных журналистов — всего около ста пятидесяти человек. Идея была привлечь внимание общественности и властей города к основной проблеме отца — гражданство вернули, а жить негде. Позже возникшая квартира в коттедже в Переделкино стала единственным его пристанищем в России, но она ему не принадлежала по закону.

Этот же Борис Гольдман помог позднее перевезти тело отца из Германии в Переделкино и похоронить на старом писательском кладбище, тем самым выполнив его последнюю волю.

Очень необычный был человек, с весьма типичной для своего времени биографией — еврейский мальчик, талантливый, разносторонний. Сумел получить четыре высших образования, поработать актёром, рабочим сцены, учителем русского и литературы в школе, а в «лихие девяностые» создать своё рекламное агентство и стать весьма успешным бизнесменом.

Они часто беседовали с отцом по душам, Борис жаловался на «невыносимость бытия» в бизнесе — ему и угрожали, и подсиживали, и делали гадости, жене и сыну нельзя было выходить из дома без охраны. Он вспоминал время, когда, будучи простым учителем в школе, любил ездить на рыбалку и никого не опасался. На вопрос отца, зачем ему такая жизнь, ответил: не могу уехать, как же я оставлю в России свою коллекцию, вывезти я её не смогу никогда — у него была огромная и очень значительная коллекция русских орденов.

По слухам, Гольдман был якобы близок к Борису Березовскому и во многом разделил его судьбу — в день похорон отца на него было совершено первое покушение, во время которого оторвало ногу его водителю. Но Борис был в это время на похоронах, рядом со мной, помогая мне не упасть в обморок, и всё приговаривал: «Это Владимов меня спас!»

А второго покушения, через полгода после смерти отца, Борис Эрленович уже не пережил. Царствие ему небесное!

Так вот, возвращаясь к яхтам, — мы ходили по набережной барселонского порта и полушутя-полусерьёзно обсуждали, какую из этих красавиц стоит отцу прикупить. Он мечтал о небольшой яхте, чтобы было всего две каюты — для него и меня, чтобы на борту был с нами кот Мартин «гамбургской породы, чёрный с белым галстучком» — когда-то такой жил с отцом и Наташей в Москве на Малой Филёвской. «А ещё хорошо было бы, чтобы плавать всегда, почти не заходя в города, чтобы работать и писать в море, чтобы порт приписки был Барселона или Марсель. Если же я почувствую себя плохо и пойму, что мне пора, — просто открою кингстоны и пойду на корм рыбам».

Через шесть лет, когда он, смертельно больной, из последних сил собрал в Германии свои любимые книги и инструменты, загрузил всё в машину и попытался вернуться в Россию — его, упавшего без сознания на руль собственного автомобиля, обнаружили в Любеке и вернули обратно в Нидернхаузен. Не получилось «открыть кингстоны».

Так получилось, что на обратном пути из Испании домой, в Германию, отцу не удалось разменять крупную купюру и поздно вечером мы не смогли остановиться на ночлег, последний перед Германией. Попробовали с помощью карты, но карта не подошла, ничего не получилось. Отец пришёл в ярость, а потом сказал: «Ничего, я выдержу. Поехали дальше. Я справлюсь».

Я пришла в ужас — немолодой человек, с большим сердцем, перенёвшим два инфаркта. Он посмотрел на меня и сказал: «Дочка, я справлюсь, только ты меня поддерживай. Не давай мне заснуть». Я посмотрела на него, собранного и надёжного, и согласилась. Ехали почти девять часов без остановки. Я вспоминала все знакомые мне песни, и читала стихи, и что-то безостановочно рассказывала. В девять утра мы были дома. Какая же Европа, оказывается, маленькая! И какая же огромная нервная сила была в моём отце, сила, которая помогала ему всё выносить — и гадкие сплетни, и предательство друзей, и забвение, и завистливые уколы коллег, и обиды, и напряжение, и непонимание, и одиночество!..

Потом он приехал в Москву. Был долгий путь его устройства в Переделкино: отец получил гражданство, но регистрации в столице не было. Я зарегистрировать его у себя официально не могла — юридически он не был мне отцом, ведь меня удочерил отчим. Справились. Путем сложных юридических хитросплетений, благо у него оказался ещё один поклонник — толковый интеллигентный молодой нотариус Мурзинов.

А потом стали заниматься его зрением. Я показала его доценту кафедры глазных болезней Академии последипломного образования врачей, где я тогда работала, отличному хирургу и чуткому человеку. Решили срочно его оперировать. Но появилась новая сложность: у отца было гражданство, но ещё не было положенного срока для получения медицинского полиса. Мой чудесный хирург не растерялся — оформил отца как бомжа. Бомжу, оказывается, по закону не нужен полис. Отец пришёл почему-то в восторг, когда я ему рассказала о его новом статусе.

Операцию он перенёс прекрасно, но, в нарушение всех инструкций, через неделю стал воровато читать газеты. Причём попросил, чтобы его перевели из бокса, куда его переместил сердобольный доктор, в обычную семиместную палату. «Вы не понимаете, я хочу быть с народом. Знали бы вы, как много я узнаю нового, когда мы с мужиками дымим в курилке!» В этом весь Владимир.

Свой 70-летний юбилей — 19 февраля 2001 года он предпочёл не отмечать так, как было принято, в большом зале, полном друзей и не друзей, с хвалебными речами, торжественно и пафосно. Сбежал накануне в Германию. Перед отъез-

дом я подарила ему большую пивную кружку с серебряной крышкой, на которой попросила выгравировать: «Я счастлива, что ты у меня есть. Дочка Марина. 19. 02. 01». Ему понравилось.

В день юбилея отец распил один бутылку вина и пошёл что-то строгать в мастерской — так он мне рассказал по телефону. «Я прекрасно провёл юбилей, чудесный получился день».

Как он остался один в болезни и страдании? Отец не хотел окончательно переезжать в Россию, предпочитал жить на два дома — полгода в Нидернхаузене, полгода в Переделкине, почему-то боялся, что не сможет вернуться в Германию. Для этих страхов были причины — отец много перенёс от наших доблестных «органов» госбезопасности.

Когда он приезжал в Россию, я переезжала к нему, чтобы помогать в быту, чтобы не было так одиноко.

* * *

Через три года после смерти Наташи отец, очень стесняясь, сказал мне, что встретил женщину, с которой хотел бы жить вместе. В Германии он познакомился с ней, она помогала ему общаться с немецкими чиновниками — это для отца было невыносимо. Евгения Сабельникова. Актриса. Самая известная её роль — Ирина в фильме «Старые стены». Моложе его на двадцать два года. Опять очень красивая.

Одна маленькая деталь — она была замужем за богатым австрийцем, с которым давно разъехалась, но не развелась. И не собиралась. Зачем? Тогда бы она потеряла приличное содержание. Но статус любовницы её тоже не устраивал. Женя заставила моего атеиста-отца срочно принять крещение и с ней обвенчаться. Она сама, с её слов, была очень верующим человеком, преданной прихожанкой церкви в Висбадене, соблюдающей все посты и предписания, пела в церковном хоре и исполняла обязанности церковного старосты в своём приходе. Зачем ей было нужно это венчание? Чтобы потом приезжать с ним в Москву, где он всем мог её представить как законную жену. Мечтала сыграть в фильме по его книгам.

Я как-то спросила отца о его отношении к Богу, вере. Он говорил, что верит в высшую справедливость, к существованию Бога относился со скепсисом, как многие из его поколения. Что мы хотим — родители уже были неверующими...

Всё было неплохо. Женя приезжала с отцом в Россию, мы познакомились с ней и вполне дружески общались. В Германии они жили каждый у себя, на расстоянии тридцати километров, и ездили друг к другу в гости. Иногда на несколько дней он переезжал к ней, в её дом, потом возвращался в свою большую одинокую квартиру. Эдакий гостевой брак.

Устраивало ли его такое положение дел? Думаю, что нет — ему хотелось настоящего уюта, женской заботы и внимания. А тут было больше развлечения,

походов по злачным местам, знакомств с нужными людьми, особенно в Москве. Приятная игра без особых обязательств. Эти отношения продолжались около двух лет, пока он не заболел. Заболел смертельно — в Германии ему подробно объяснили стадию его болезни, назвали диагноз со всеми подробностями, предложили операцию, взяв подписку о том, что он предупреждён о риске, рассказали о сроке, который ему остался. Прооперировали. И оставили жить с этим знанием.

Женя честно отсидела при нём пять недель, навещая его в больнице, выживала после операции, взяв на время к себе домой, а потом позвонила мне и сказала, что очень устала. И отправила весной 2002 года ко мне в Россию.

Отец приехал измученным, слабым, почти потерявшим интерес к жизни, стал выпивать понемногу каждый день, всё говорил: «Вот ещё один из моего поколения ушёл в небытие. Всё кучнее падают бомбы». Спасал огородик.

Я убедила его пить бефунгин — вытяжку из чаги, которая когда-то спасла Александра Исаевича Солженицына, о ней он писал в «Раковом корпусе», — так хотелось надеяться, что удастся спасти ею и отца!

Женя приехала на один день, а потом перебралась к родителям, ничего ему толком не объяснив. А потом снова вернулась в Германию. Я случайно обнаружила правду. Открыла шкаф-купе и не увидела ни одного её платья. Рассказала отцу. Он, совершенно потрясённый, позвонил ей. Она лепетала что-то несуразно-жалкое по телефону: «Ты так изменился за последнее время. Я решила расстаться с тобой сейчас, чтобы осталась память о наших красивых отношениях, не хочется портить их твоим пьянством и мрачностью». Это не добавило, конечно, ему сил. В начале осени 2002 года у меня родилась дочка, я уехала к мужу, а отец вернулся в Германию. Мы перезванивались, я послала ему фотографию его внучки, которую он так и не увидел вживую. Он собирался к нам приехать — и не доехал...

Гарик Суперфин, его знакомый, а впоследствии хранитель отцовского архива в Бремене (там многие сокровища, в том числе письма Сергея Довлатова), рассказал мне о его последних днях. Отец ослабел, исхудал до неузнаваемости, еле передвигал ноги, не мог уже готовить себе еду. Гарик говорил: «Чёртовы бабы — неужели нельзя мужику сварить хотя бы кастрюлю супа!»

За неделю до его смерти, последовавшей 19 октября 2003 года, Женя испугалась, сказала, что увидела его во сне. Раскаялась? Приехала и нашла отца без сознания на пороге квартиры. Перевезла в больницу, где он тихо скончался. На похоронах в Москве, куда она привезла его тело, в церкви стояла вместе с певчими и пела. А потом пела вместе с батюшкой у развёрстой могилы. Говорила, что перед смертью просила у него прощения, и он её простил с лёгким сердцем.

Может и простил — отец вообще как-то очень по-мужски, по-рыцарски относился к женщинам. Однажды он мне сказал дома в Нидернхаузене, когда я рвалась встать пораньше, чтобы прибраться и приготовить обед: «Зачем ты так рано

встаёшь? Женщина должна понежиться, помечтать, побаловать себя. Ташенька всегда нежилась до одиннадцати, а я любил вставать в шесть утра и работать».

Надеюсь, что там, на небесах, он встретился со своей Ташечкой и счастлив. И много работает.

* * *

В Переделкине отца несколько раз навещала бывшая соседка по Малой Филёвской, тётя Таня, как он её называл. Во время его приезда в 1995 году она тоже навещала его вместе с Наташей. Татьяна была женой известного писателя, дети разъехались, она нашла прибежище в церкви, — вот кто был истинно верующим человеком. Я не сразу смогла поставить отцу памятник, приезжала несколько раз в год на могилу, и каждый раз тихо радовалась — спасибо тёте Тане — могила была всегда прибранной, почти без сорняков. Теперь есть памятник, и тётя Таня, как может, следит за ним. Низкий ей поклон!

* * *

Судьба отпустила нам с отцом пробыть вместе всего десять лет, вместивших в себя одно путешествие в Европу. И несколько лет приездов его в Москву. И долгих телефонных разговоров из Нидернхаузена. И замечательных дней в Переделкине. И знакомств моих со многими людьми, знавшими и любившими его. Так что я не ропщу. Я помню своего отца. Моего Георгия Владимова.